

ИВАН ШАМЯКИН

Пусть будут добрые сердца

Рассказы о литературной молодости



Литерный паек

В июне 1947 года меня вызвали в Минск для приема в Союз писателей. Опубликованы были повесть «Месть», рассказ «В снежной пустыне», два или три рассказа, которые уже не помню, в «Гомельской правде».

Это была вторая поездка в столицу, первая — в декабре сорок пятого — на первый послевоенный пленум. Так он назывался. Но на самом деле это был съезд, потому что на нем присутствовало 42 члена Союза из 43-х (Пимен Панченко не приехал из Ирана, где продолжал службу в армии). Перед этой, первой, поездкой я не волновался. Ехал в шинели и в сапогах — солдат. А солдат нигде не должен волноваться. Обратного возвращался как на крыльях: на пленуме в докладе о творчестве молодых Василий Витка высоко оценил мою «Месть», хотя журнал еще не вышел.

Вызов на прием меня взволновал. Вон как взлетел за два года — до какой высоты добрался! Вернусь членом Союза писателей! В то время это был судьбоносный шаг. Писатель-профессионал — фигура, равная... Да с кем можно было сравнить? Только с коллегами по другим видам искусства — художниками, композиторами...

Больше меня волновалась Маша. Во-первых: а вдруг не примут — позор. — Никому не говори, зачем едешь.

Но еще больше ее напугала моя мечта:

— Стану членом Союза — переедем в Минск.

Боялась сельская фельдшерица Минска. Сроднилась с жителями своего большого участка — на семь деревень: Прокоповка, Маковье, Будище, Черетянка, Займище, Залесье, Донец. Маша радовалась, что хоть чем-нибудь может помочь этим людям, а сама жила не намного лучше: весна того года была голодная; соседняя Украина очень голодала, люди оттуда шли на север. Куда? В Минск? В Литву? В Ленинград? Рабочие везде нужны были — государство восстанавливалось после войны. Но не везде отоваривали даже рабочие карточки. А кто мог помочь колхозникам?

А Минск, говорили те, кто побывал там, жил уже полной жизнью. Западная рядом, рынок завален продуктами, да и в коммерческих магазинах — все что хочешь, были бы деньги. А у меня печаталась в «Полымі» первая часть «Глубокого течения». Будет гонорар!

И все равно Маша боялась. Может, за меня боялась, что, когда стану настоящим писателем, «задеру хвост» и наброшусь на минских красавиц. К учительницам, с которыми я работал в школе, ревновала, особенно к одной — Марусе Антоненко. С ней я учился в седьмом классе и тогда же назначил ей свидание, окончившееся для меня трагикомично: глупая девушка

рассказала об этом маковским парням, а те на мосту через речку сделали мне «темную». Боков не намяли, но в классе смеялись: «Ну как, жених?» Удивительно — стыда особого я не испытывал. Наоборот, считал себя рыцарем: прошел от школы семь километров, а вечером пробежал снова те же семь километров, а всего $7 \times 4 = 28$. Разве не подвиг?..

* * *

Ехал ночью в общем вагоне, тогда от Гомеля до Минска поезд шел часов десять; разобрали вторую нитку, чтобы отремонтировать разбитый бомбами, немецкими и партизанскими, один путь.

Спал сидя, положив голову на плечо мужчины, от которого шел очень сильный запах выделанной овчины — шил кожанки?

Союз писателей размещался в Доме правительства в дворовом крыле. Утром милиционер не пустил меня туда:

— Они работают с двух часов.

Меня это удивило: вот это жизнь!

Часов пять бесцельного хождения по Минску. Что смотреть? Руины? Насмотрелся на них — Мурманск, Варшава, Берлин... И Минск — в сорок пятом. Повезло, что в Доме профсоюзов на площади Свободы неожиданно для себя открыл музей Янки Купалы. Долго ходил там. Исключительный интерес — для меня, человека, которому война не позволила прочитать даже Купалу. А знать необходимо! Необходимо знать всю белорусскую литературу. Я читал с жадностью. Но где было взять книги в моей Прокоповке?

* * *

Членов президиума было немного — человек семь. Столько же и нас, новобранцев. Но присутствовали коллеги, рекомендовавшие нас. Вел заседание председатель Союза седой Михась Лыньков, белый-белый, как шапка Арабата, которую я увидел значительно позже. Потом мне рассказали трагедию Лынькова — фашисты сожгли в Тростенце его жену и сына.

Процедура приема была простая и вовсе не формальная. Секретарь Союза Павел Ковалев, одетый почему-то в такую жару во френч из английского сукна, с трубкой, табак в которой не горел, докладывал о каждом из кандидатов, как говорится, на высокой ноте: каждый гений. Присутствующие — признанные гении — задавали начинающим вопросы. Больше всего досталось Алене Василевич. Алексей Русецкий и Микола Аврамчик читали стихи. А обо мне словно забыли, даже страха нагнали — ни вопросов, ни желания послушать хотя бы страничку из второй части романа.

Я ощущал себя последним в очереди и в какой-то момент даже голым. Чуть не сомлел от мысли: не примут, недаром Маша боялась. Нет! Поднялся Владимир Карпов, мой журнальный редактор, и сделал чуть ли не доклад о «Глубоком течении».

Лыньков вынужден был его прервать.

Голосование было открытым, оно долго оставалось таким и тогда, когда я работал в Союзе писателей заместителем председателя.

Всех приняли единогласно.

Конечно же, прием «обмывали». За полстолетия не помню случая, чтобы его не «обмыли».

То ли потому, что «новобранцы» были бедными, или потому что в ресторане фабрики-кухни не было водки, но пили одно пиво. Бутылок по восемь-десять на нос опорожнили, еле успевали бегать вниз — в туалет.

* * *

Не помню, почему я остался в Минске еще на день или два, кажется, нужно было снять какие-то вопросы в корректуре.

Павел Ковалев — добрейший человек, он и вправду заботился о писателях — устроил меня в гостиницу. В отдельный номер. И тут я почувствовал себя писателем. Даже фигу выставил своим коллегам — учителям: нате, укусите меня теперь! А были среди них завистники, не нравилось им, что гонорары мне приходят, что мы с Машей два пайка получаем — по десять килограммов черной американской фасоли, изредка — конфеты-подушечки.

Перед отъездом я не мог не зайти в Союз. Чтобы укрепить свое ощущение полноправного члена уважаемой организации. В кабинете председателя и секретаря сидел один Павел Никифорович. Покуривал свою неизменную трубку! (Не могу не вспомнить. Когда я жил уже в Минске, Павел вдруг скинул френч и отказался от трубки — перешел на сигареты. Всех это удивило. Но был поэт, который все про всех знал, — Анатолий Велюгин. Он рассказал, что в Доме офицеров, когда Павел, в френче, с трубкой, с пальцами под френчем между пуговицами, ходил в фойе, к нему бросился молодой лейтенант, схватил за плечи, закричал: «Ты кому, слизняк, подражаешь?» Правда это или нет — не знаю. Но если и подражал, то не Сталину, а скорее Пономаренко, у которого Ковалев какое-то время работал помощником.)

Павел Никифорович заботливо побеседовал с молодым членом Союза. Секретарь сельской парторганизации, я никогда и никому не жаловался на свою жизнь. А тут старший товарищ своим отношением вызвал у меня полное доверие, и я признался: плохо живу, не всегда молока маленькой дочке могу купить. И Ковалев тут же позвал из соседней комнаты директора Литфонда Мирона Левина, личность легендарную, старейшие писатели долго его помнили. (Но сколько их осталось, старейших.)

— Был вчера на президиуме?

— Павел! Ты кого спрашиваешь? Ты не увидел такую фигуру, как Левин? Я вешу сто девять кило. Как я мог не быть на президиуме?

— Слышал, что говорили про Шамякина?

— Как не слышать! Гордость нашей литературы.

— Ну, гордостью он еще будет. А теперь наша обязанность помочь писателю. Выпиши тысячу рублей и сделай ему литерный паек. Знаешь, к кому нужно сходить?

— Кого ты учишь? Чтоб Левин не знал? Дорогой мой секретарь! Левин знает всех. И Левина знают все. Но письмецо сам сочини. Мы сегодня и ходим с молодым нашим поэтом к дорогому министру.

Деньги мне Левин выдал тут же, как только мы пришли в его кабинет. До реформы 1947 года — мизер. И все-таки больше моей месячной

зарплаты. Письмо пришлось подождать — Павел не сразу продиктовал его машинистке.

Золотой человек! Делал все обстоятельно, чиновником не был. Писателей любил, уважал, растить их считал своей главной обязанностью — ЦК ведь послал его на должность ответственного секретаря.

Толстый Левин охотно повел меня в главный корпус Совета Министров. Прошли пост, на котором у меня спросили пропуск. Но Левин сказал:

— Это со мной. К товарищу Шаврову.

Сила, авторитет!

На лестничной площадке остановился и сказал:

— Чтобы подняться наверх, нужно сначала спуститься вниз.

Я не понимал его мудрости и смысла ритуала.

Спустились в цокольный этаж. И очутились в шикарном буфете. Такого я еще не видел. Вина, коньяки, за полукруглым стеклом — закуски.

Слюнки потекли: потому как рано утром съел в гостинице по коммерческой цене ложку макарон и выпил стакан кофе с молоком, в котором не было молока, так ничего с тех пор и не ел, а обошел полгорода, по музею часа два ходил снова.

— Сонечка! По двести коньяку и по бутерброду, — ласково попросил Мирон буфетчицу.

Он вылил свой коньяк в рот, как в колодец. Я отпил маленький глоток: к министру ведь идем!

— Больше не могу.

Левин допил и мой коньяк.

Сумма, которую назвала буфетчица, повергла меня в шок. Иллюзии, что угощает Левин, не было. Выложил больше половины литфондовой помощи. А мечтал купить что-нибудь вкусное шестилетней дочке и жене. Купил!

Министра не было. И я даже обрадовался этому. Левин после выпивки мне не нравился, какой-то агрессивно-мрачный стал; в коридоре матом ответил человеку, который с ним поздоровался. Тот, правда, не обиделся, сказал:

— Веселый ты, Мирон, сегодня. Смотри, штаны потеряешь.

— Не бойся. Они держатся на молодом авторе.

А штаны его на самом деле сползли с толстого живота, и я, между прочим, подумал, что этот человек может и на самом деле потерять свои широченные штаны.

— А Григорий есть? — спросил Мирон у секретарши, молоденькой девушки, подтягивая перед нею штаны.

— Григорий Моисеевич у себя.

Табличка на двери напротив: «Заместитель министра...»

Не запомнил я фамилии его. Столько лет прошло!

Левина он встретил ласково. Мне руки не подал. Наверное, в своей шерстяной (в жару!), хотя и новой еще гимнастерке, в штанах, подарке американского рабочего, с различными заклепками на них, я не вызвал у высокого чиновника никакого интереса — сотни таких к нему обращались.

Не помню, о чем они беседовали вначале — замминистра и Левин. Но хорошо помню ту часть разговора, которая касалась меня.

Григорию Моисеевичу хотелось как можно скорее избавиться от пьяного директора и молодого писателя.

— Мирон, так какие у тебя проблемы?

— Гриша, ты Пушкина знаешь?

— Кто не знает Пушкина! — без улыбки сказал тот.

— Так вот, этот, — ткнул пальцем в мою сторону, — второй... после Пушкина.

Мне стало бы легче, если бы замминистра захохотал. Нет, еле заметно улыбнулся.

— Ты бы слышал, какие стихи он сочиняет. Вчера весь президиум целый час слушал зачарованно. Слушай... как тебя?.. Почитай. Пусть послушает.

«Да не пишу я стихи!» — уже возмущенно хотел я крикнуть. Не крикнул, не прощентал — онемел от неожиданности. Выручил заместитель министра.

— Хорошо, хорошо, Мирон. Я верю, что товарищ великий поэт. Войну прошел. Наш Твардовский. Но что требуется от меня?

— Столько человек работает, пишет, детей учит, а живет... Ты знаешь, как живут учителя? Нужен литерный паек. Заслужил!

— Нет проблемы, — сказал хозяин кабинета. — Если заслужил — будет иметь. Ваша фамилия?

Я назвал фамилию, имя, область, район, деревню.

Левин вспомнил о письме СП. Подал.

— Тут все есть.

— Мы напишем в райисполком, и там вам, на месте, выдадут литерный паек. Может, в районе он не такой богатый, но голодать не будете. Пишите больше. Успехов вам. Через неделю загляните в свой райисполком.

— Спасибо вам. Искренне благодарю.

— Не за что. Моя обязанность — помочь молодому дарованию.

Вышел я — как на крыльях вылетел. И поскольку Левин задержался, я сбежал по лестнице без него; боялся, чтобы Левин снова не повел меня в буфет — отметить успех. Без копейки остался бы.

Еле выдержав десять дней, я побежал в Тереховку. Но в райисполкоме никакого письма не было, и работники, многих из которых я знал, — приезжали уполномоченными в сельсовет, в колхозы — разве только не смеялись мне в лицо, смотрели со злой иронией: «Еще один дурак выискался. Ишь, чего захотел — литерный паек!»

Маша сперва поверила моей минской «эпопее»: если приняли в Союз писателей, то почему не могли выдать литерные карточки, которые получало городское начальство? А потом смеялась. Надо мной. И над собой — что поверила.

Через полгода карточки отменили, но одновременно провели денежную реформу. Вместо 12 тысяч гонорара, выписанного за первую часть «Глубокого течения», я получил одну тысячу двести. Но имея деньги, я купил в Гомеле столько продуктов, что чуть тащил их из Тереховки до Прокоповки.

А Левин?.. Чудил. Когда я уже учился в партийной школе, его сняли с работы, сразу, в один день, и тогда, когда его не было в Минске — находился в Москве в командировке. Понадобилось место для директора театра имени Янки Купалы Фани Алер. Сняли ее не за плохую работу — за какие-то амурные грехи. Мирон вернулся из Москвы, скандалить ни с кем не стал, он знал, кто прислал нового директора. Но все же «выкинул коника»: сел и с ошибками сочинил приказ примерно

такого содержания: «Назначение Алер Ф. Я. директором Литфонда БССР считать незаконным. Директор Литфонда Левин М. М.». И вывесил приказ на входных дверях. Возмутил серьезного служаку Павла. Насмешил писателей.

Работая в другом учреждении и еще более толстая, в Союз писателей не заходил — имел гордость.

Встретив однажды меня на улице, сказал:

— Ну, как там у вас жидовка разваливает Литфонд?

Интернационалист, я оторопел: впервые увидел еврея-антисемита. Потом — встречал часто.

Кого «Подсосюрить»?

В литературу я вошел легко. Вознесся. Быстро встал в первую шеренгу ее. Сталинская премия в то время, при жизни «отца всех народов», — ох как много значила! Говорят, Сталин все, что выдвигалось на премию, читал. Верили: гений! Хотя значительно позже, после смерти его, мне рассказывал Сергей Михалков, что, когда дошла очередь до «Глубокого течения», Сталин спросил у членов комитета: «Все читали?» Все! Кто мог признаться Сталину, что не читал, будучи членом такого высокого комитета? Фадеев отважился добавить: «Про партизан еще никто так не написал». Наивысшая оценка! Александру Фадееву Сталин верил. А Фадеев поверил белорусам, нашему ЦК — он дал команду выдвинуть. Однако после разговора с Михалковым я убедился, что читали не все. Михалков не признался в застолье в Союзе писателей, что не читал, но один-единственный мой вопрос о романе заставил его заглушить разговор со мной, хотя я и вел банкет — первым секретарем уже был, а Максим Танк не любил председательствовать, в большинстве случаев поручал мне. Да, конечно, в итоге все решал ЦК, возможно, Пономаренко — ему, начальнику Центрального партизанского штаба, роман не мог не понравиться — это и его слава.

Однако не об этом будет мое ночное воспоминание. В литературу вошел действительно легко. И легко шел. В напряженное время учебы в партшколе написал «У добры час». Никто не диктовал, никто не подсказывал. Правда, критик Войнич (он ругал «У добры час» за очернение колхозной деревни, теперь от такой критики хочется расхохотаться) дернул за удила. Но, пожалуй, раньше критики одно замечательное литературное событие дало понять: не разгоняйся, хлопец! Можно легко войти в литературу, но и вылететь из нее можно пулей. И не в учителя на Гомельщину — а в край далекий. В укромных местах, за хорошей выпивкой старейшие писатели рассказали о своих коллегах, которых скосила предвоенная «косилка». Рассказывали по-разному, все осторожно, с оглядкой, но мало кто считал Гартного, Чарота, Таубина врагами. Я слушал рассказы с интересом, но больше верил партии: война, армия, партшкола воспитали во мне марксиста-ленинца, закаленного, непоколебимого. И я считал целью своей жизни везде и во всем проводить партийную линию. Но, как видно, художник во мне одержал верх: в то время я начал писать «Криницы», роман, удививший почти всех моих коллег смелостью, а именно образом Бородки.

Нет, еще до романа «Криницы», написанного и опубликованного после смерти вождя, одна история дала мне понять, что литература — дело трудное, опасное.

Было лето. Отдыхали в нашем маленьком и уютном Доме творчества «Королищевичи». Привезли газеты. Сенсация: в «Правде» большая статья о литературе, украинской, конкретно — о стихотворении Владимира Сосюры «Люби Украину». А почему ее не любить, наверное, спросил бы каждый, кто имеет трезвую голову. Но так мы рассуждаем сегодня. А тогда... Убедительное доказательство, что стихотворение открыто националистическое, и — общий вывод: националистические идеи проявляются не только в Украине, но и в литературе других республик.

Признаюсь: статью я прочитал с интересом, но особого значения ей не придавал; о литературе в то время писали много во всех газетах: в частности, у нас ни одно значительное произведение не было не замечено критиками и прессой. Не сосчитать статей о «Глубоком течении», «Криницах».

Во время обеда, когда за столом сидели жены и дети, коллеги мои о статье не говорили. Но когда возвращались из столовой мужской группой, кажется, Алесь Якимович сказал:

— Это новые «Звезда» и «Ленинград».

Имел в виду постановление ЦК пятилетней давности, бывшее все еще платформой литературной политики. Антон Белевич успокоил, сказав, что у нас таких стихотворений нет. Спросил у Велюгина, есть или нет. Велюгин знал все — что печаталось и что обсуждалось в самых высоких инстанциях. Потом такая осведомленность меня удивляла. Бровка не знал тех новостей, которые часто приносил Анатолий.

Есть такие стихи или нет их — об этом немножко поговорили, но без эмоций, споров, кто-то даже возразил Якимовичу: статья это, мол, а не постановление. Корреспондент может написать что угодно. Разве у нас мало было разгромных статей? Политики партийной из них не делали, положения многих из них оспаривали на заседаниях.

Отдыхал в Доме творчества Кондрат Крапива. Академик, патриарх. Но водку с нами никогда не пил. Якуб Колас изредка приезжал и любил посидеть с молодыми, рюмку выпить и анекдоты наши послушать. Юморист и сатирик Крапива к компаниям нашим не присоединялся, мыслями о новых произведениях не делился, разве что о басне в «Вожыку», где он был членом редколлегии. Однако про «Люби Украину» мы у него спросили.

— Не читал я это стихотворение.

— А ваше мнение о статье?

— Если «Правда» дала, значит, правда.

— Съедят Сосюру, — произнес кто-то, не Пилип ли Пестрак.

Ничего особенного никто не сказал, незначительные реплики, но я почему-то встревожился. «Звезда» и «Ленинград» прошли мимо меня — учительствовал еще, не с кем было обсудить постановление, напечатанное в газетах, — не о сельском ведь хозяйстве. Прочитал — и забыл, занялся своими нелегкими обязанностями: учил детей, вникал в дела шести колхозов — секретарем парторганизации в то время был; выюжными ночами писал роман, набросив на плечи шинель, — холодно было в комнате, маленькая дочь и жена спали на печи, иногда и я, замерзнув, там хотел примоститься, но втроем тесно.

Коснулся я другой компании (тогда я жил уже в Минске) — борьбы с космополитизмом. Я, безусловно, был против космополитов — слуги капитализма! — и одобрял политику партии. Но больно поразил меня арест поэта Хаима Мальгинского. Он был моим первым редактором, редактором книжки детских рассказов, и я много раз ходил к нему на квартиру — в маленькую комнату в деревянном доме по улице Розы Люксембург. Естественно, что при таком контакте мы рассказывали свои военные биографии. Он был комиссаром батальона, имел два боевых ордена, его ранило в ногу, ее ампутировали, ходил на деревянном протезе. И он придерживался тех же взглядов, что и я, — партийных. Так за что же его арестовали? Этого я не мог понять, и мне было больно. Вместе с ним арестовали Исаака Платнера, добрейшего человека, в чем я убедился, когда, реабилитированный, он вернулся к нам, а я уже был заместителем председателя и старался, чтобы устроить и Мальгинского, и Платнера с квартирами, с изданиями. Чтобы не было у них обиды на советскую власть. Тех, кто виновны в этом, наказали: одного, Сталина, — судьба, второго, Берия, — суд. Но все это произошло позже — после Сосюры.

Я сказал жене, что меня статья встревожила.

— А ты не лезь вперед! — почти в приказном тоне сказала моя мудрая жена.

— Осади назад, так, по-твоему? Ты забываешь, кто я.

Мудрый Илья Гурский на первом же отчетно-выборном собрании передал портфель секретаря парторганизации мне, выпускнику партийной школы. Кому же еще: изучал не только марксизм-ленинизм, но и практику партийного строительства в послевоенные годы.

— Как же я могу спрятаться за спину Бровки? Да и никогда я не прятался за чужие спины.

Маша не сдавалась:

— Подумаешь — классик! Автор одного романа. А тут — поэзия. Пусть поэты и разбираются.

Поэты и «разобрались». Недаром после обеда мне не писалось — росло тревожное предчувствие. Через какое-то время подкатила «Победа». Из нее вышли Петрусь Бровка, Петро Глебка, Максим Танк. Кулешов и Крапива находились здесь, в Королицевичах. В таком составе Бровка и собрал нас: известные поэты и я, единственный, неоперившийся еще прозаик, почти младенец. Мне бы только клювик раскрыть: положите в рот. Нет! Не так решил мудрый Бровка. Он ли один?

Собрались не в доме, не в столовой — на лесной поляне, вдали от дома, как подпольщики, партизаны. Озирались, не подслушивает ли кто в кустах. Возмутиться могли некоторые писатели: почему такой келейный сбор? Тот же Пестрак, член президиума Союза писателей, борец за демократию. Но у Петра Устиновича все было уже решено. Не на поляне. В кабинете на пятом этаже. И дискуссии не могло быть. С этого Бровка начал:

— Читали?

Кулешов не успел прочитать, ему Бровка кратко пересказал содержание статьи. Аркадь, юморист, острый на язык, — ни слова, сделался мрачно-серьезным.

— Я думаю, все понимают значение статьи. «Правда» дала! — заключил Бровка и показал пальцем в небо. — Там есть мнение: обсудить статью на открытом партийном собрании. В ближайшее время. По возможности на этой неделе.

Не помню, какой был день — вторник, среда, но помню, что Петро Глебка усомнился:

— Кто подготовит доклад за такое время?

— А кто должен делать его, доклад? — поспросил Крапива. — Нужно партийному критику. Борисенко?

Бровка на какое-то время задумался, смотрел на меня. Я подумал, что он ждет, кого назову я, парторг. А кого я мог назвать? Критика? Кого? Я ведь не всех знал, даже тех, кто писал о моих рассказах, романе.

Но Бровка сказал, как обухом по голове ударил:

— Доклад сделает Иван Петрович.

Я чуть сознание не потерял от такой неожиданности. Не выступал я еще ни разу перед писателями даже с обычным докладом — о нашей внутренней работе. А тут — политический доклад. На каком материале? Нужны наши факты. А где они у меня? Кто у нас пишет, как Сосюра? И я жалобно застонал:

— Петро Устинович! Да не могу я! Какой из меня докладчик? Поэзию я не знаю... О ком говорить?

— Иван Петрович! Мнение такое поддержали там, — и снова поднял палец к небу.

— Поможем! — как мне показалось, весело сказал Петро Глебка, прикуривая очередную сигарету. — А факты... Они всегда есть. Вот первый: Максим перевел «Люби Украину»...

А я в начале нашей беседы обратил внимание: Максим Танк, весельчак в любой компании, хохотун, мрачно молчал. Кивком головы он поддерживал мою кандидатуру как докладчика.

— Перевел, — виновато признался Евгений Иванович и, словно имея какую-то надежду на будущего докладчика, поддержал Глебку: — Шамякину нужно помочь.

— Поможем! — почти обрадовался председатель Союза.

— Вот мои два стихотворения, — сказал Петро Глебка, выпуская ароматный дым дорогих сигарет. — Никаких знаков времени. Такие стихи можно написать в прошлом столетии. В наше время такой лирике не место. Критикуй меня, Иване...

(Он назвал свои стихи, но я не помню их. К сожалению, в моем домашнем архиве не осталось и рукописного варианта доклада. Есть ли он в других архивах, партийном, государственном? Не уверен. Искать нет сил.)

После Глебки назвал для доклада свое лирическое, про любовь, стихотворение Бровка. Словно осмелев, Максим Танк (его вина — перевод) почему-то засмеялся.

— Ты чего? — насторожился Петро Устинович.

— Какие мы самокритичные стали!

— Самокритиковаться придется тебе. Что тебя потянуло переводить это стихотворение?

— Дружба.

— Дружба! Мало у Сосюры других стихов!

Крапива хмыкал как будто от своих тайных мыслей. Встревожен или обрадован? Напомнил:

— У меня басни. Они имеют конкретный адрес.

— У тебя — басни, — согласился Бровка. — И в них мораль. А в некоторых стихах, в наших в том числе, морали не хватает. Нашей, партийной.

Кулешов молчал. Бровка, как я узнал позже, не мог пройти мимо него.

— А ты, Аркадь, чего молчишь? А я тебе скажу честно, последние твои стихи мне не понравились. Эти, которые Кучер назвал философскими. «Земля и небо». И как там еще? Какая в них философия? Ленинская?

Аркадь позеленел.

— Ты мои стихи не трогай.

Бровка подпрыгнул.

— А почему это твои не трогать? Наши можно, а твои нельзя? Вон Глебка сам назвал свои. И я. А ты? Ты еще не Купала и не Колас!..

— Ты давно ищешь повод утопить меня.

— Не я ищу. А ты... ты со своими дружками...

— С какими дружками? На кого ты киваешь? На Кучера?

— Кучер тут ни при чем! Кучер — партийный критик. Я не целуюсь с ним, но уважаю.

— Знаю я, как ты нас уважаешь. И люди знают...

Диалог этот я помню почти дословно. Затем началась обычная ссора. Такое я слышал разве что в пьяном застолье, когда перепивались задиры вроде Антона Белевича, Пилипа Пестрака, Анатоля Велюгина.

Развел трезвых петухов рассудительный, всегда мирный Петро Глебка. Кулешов ушел, за ним — Танк. Попросил прощения Крапива.

Тезисы доклада обсуждали мы втроем. Какое обсуждение! Горячий Петрусь не единожды возвращался к Кулешову, то заверяя, что он любит его как поэта, то перечеркивая некоторые его поэмы и стихи, подсказывая будущему докладчику все новые примеры, некоторые даже из довоенного творчества известного поэта. Но рассудительный Глебка сдерживал его горячий пыл:

— Петрусь! Давай довоенные трогать не будем. Все наши грехи — у кого их не было! — списала война.

В тот же день, вместе с Бровкой и Глебкой, я поехал в город. В Доме творчества хорошо писался роман, но для доклада нужны газеты, журналы, книги. А их не было!

Как я работал в те дни! Я, молодой, вообще был настойчивым (упорным) в работе, до трех часов ночи писал. Но такой напряженности я не помню. Во-первых, срок, хотя Бровка, наверное, с согласия отдела или даже самого идеологического бога Тимофея Горбунова, проявил милость: дал целую неделю! За год столько не перечитывал: искал, кого «подсосюристь». С чьей-то легкой руки слово это пошло в народ. В газетах печатались статьи критиков. Причем объектом являлся несчастный переводчик. Ну, Максима «подсосюрили». Кого еще?

Мне позвонил на подпитии Антон Белевич, не попросил — пригрозил:

— Янка! Смотри ж, не вздумай «подсосюристь» меня. У меня вся поэзия высокопатриотичная.

А он как раз шел вторым после Танка.

Кроме срока возникло какое-то дурное опьянение, азарт. Захотелось вдруг показать, что я умею не только роман написать, но и доклад сделать не хуже старших. Решили попугать меня? А фигу не хотите? Доклад мой станет сенсацией.

Днем я читал — в библиотеках, редакциях, чаще — у Глебки, в библиотеке которого имелись все издания, журналы, подшивки «Літаратуры і мастацтва». А ночами писал, «гнал» по десятку страниц.

Но два человека остудили мой пыл. Жена моя и Андрей Макаенок. Маша читала написанное ночью до того, как я просыпался, и озабоченно остерегала:

— Зачем ты так? Хорошие ведь стихи. (И до прозы добрался — до лирических зарисовок, на которые пошла мода.) — Съедят тебя писатели за такие оценки. Неизвестно, чем все это кончится. Ты хоть знаешь, что украинцы пишут? А как ведет себя Сосюра?

Нет, украинцев я не читал. Читал московские издания. Статьи были беспощадными не только к выдающемуся украинскому поэту, они были против национализма в республиках. Нас пока не трогали. За Украиной под удар попали Грузия, Азербайджан. Не помню, затронули ли прибалтов.

Андрею я показал доклад тогда, когда, на мой взгляд, он был уже полностью написан и даже перепечатан машинисткой Союза писателей.

Андрей нахмурился на третьей странице. Достал из кармана чернильную авторучку (шариковых еще не было) и безжалостно, почти со злостью вычеркнул два абзаца.

Я чуть не задохнулся:

— Что ты делаешь? Готовый доклад!

— Ты называешь готовым? Да еще докладом? Иван! Перед кем ты выпендриваешься? Перед безграмотным Горбуновым? Или перед «украинцем» Кагановичем? Ты ведь хорошо знаешь, что это его авантюра, этого гомельского сапожника. Так почему мы с тобой должны поддерживать таких проходимцев? И оплевывать своих товарищей, хороших поэтов. Подумаешь, Танк устроил крамолу — перевел стихотворение коллеги! Премии таким докладом не заработаешь. Это не «Глубокое течение»!

— И я говорю ему то же. Занесло его, как на ухабе. Писал — не остановить. Все ночи.

— Молодец, Маша! Слушай жену, Иван! Она мудрее нас. У нее чутье.

Тратить много слов им не пришлось — Андрею и Маше. Первые же беспощадные слова друга, с мнением которого я считался, убедили меня в том, что он прав, что меня, молодого петушка, занесло на чужой забор.

Мы сели голова к голове. Андрей дал мне свою ручку:

— Вычеркивай своей рукой все, что я тебе скажу.

И я послушно вычеркивал все то, что с таким усилием, напряжением искал, что писал бессонными ночами. Абзаца два-три отстоял. Из тридцати страниц осталось двадцать. Перепечатывать я дал чужой машинистке — за плату, чтобы никто из наших не видел вычеркнутых имен, произведений, оценок.

Но что удивило — доклад понравился Бровке, которому я его показал для цензуры и утверждения перед собранием.

На собрании я сильно волновался — даже горячо было в животе, стучала кровь в висках. Но собрание прошло спокойно: ни одного протестного выкрика, но и аплодисменты были реденькие после последней моей фразы о мудрости партии и Сталина.

Но особенно меня поразило, что и представитель ЦК (помнится, это был Халипов) похвалил доклад, молодцом меня назвал. Странно. Сам же я понимал, что доклад ниже среднего, если не сказать, что совсем слабый.

И эту загадку разъяснил мне Андрей (в складчине после такого собрания мы участия не принимали — тихонечко откололись от коллег и пошли ко мне домой).

— А ты думаешь, кому-то хочется, чтобы ты доказывал, что у нас расцвел национализм? У нас же Патоличев, а он — не Каганович. Он — казак.

Злой глаз — злое сердце

1

Гоню коров домой — на дневную дойку. За огородом бежит мне навстречу, запыхавшись, брат мой Павел.

— Мамка сказала: не гони. Подержи их здесь.

— Почему?

— У нас сидит Гапка.

Легко сказать «не гони» — на дойку коровы сами бегут: от жары лесной, комаров, слепней и оводов — в хлев, в прохладу. Был невероятный случай: первотелка Рябуня неслась домой как сумасшедшая, не удержать. А начнет мать доить ее — нет молока, пустое вымя. Словно наваждение какое-то, мать так и считала. А отец мой человек был практичный: сел в уголке хлева и подсмотрел, кто доит Рябуню. Не нечистая сила, как считала мать, а... обыкновенный уж. Он высасывал молоко, и его «доение» корове больше нравилось, чем мозолистые, шершавые руки лесничихи. Убил отец ужа. Событие было на три соседние деревни — Кравцовку, Дикаловку, Гуту. Легенды ходили.

Рябуня дня три помычала, побрыкалась — вдвоем, мать и отец, доили; молоко ее долго не пили, свиньям выливали.

А Гапка... Гапку эту тоже далеко знали. И слава у нее была плохая: колдунья. Когда с пастбища возвращалось стадо, соседи прогоняли Гапку с ее же завалинки: не сиди, не смотри! Потому как стоит ей только похвалить: «Вот вымя налилось!» — и у коровы пропадает молоко.

К отцу моему она приходила часто — просила дров. Но лошади у нее не было, она хотела, чтобы лесник сам подбросил ей вязаночку, часто ведь проезжает мимо ее хаты на пустом возу.

Отец мой рассказам про ее колдовство не верил, иногда ругался и показывал бабе фигу. Она крестила, не себя — его. Мать при этом чуть не обмирала от страха и, чтобы задобрить «дурной глаз», угощала Гапку молоком, сметаной, огурцами, даже сахаром, который и нам, детям, не часто давала. И заставляла отца завезти Гапке дрова — чтобы задобрить ведьму. А дрова... Вон их сколько за зиму набиралось, сложены вдоль двух заборов, готовые, напиленные: отбирали у порубщиков, возивших их в Добрянку евреям на продажу. (Между прочим, это был единственный крестьянский заработок, пока держали лошадей, — до колхозов.)

Когда я пошел в школу, то сразу поверил учительнице Валентине Андреевне, что никаких богов нет, что это все — суеверие темных, забитых людей, что все это выдумали богатые, чтобы рабы, угнетенные, бедные, боясь богов, гнули спины на них, богатых. И Гапкино колдовство — суеверие, выдумка.

Нужно ли говорить, что в комсомольском возрасте я стал убежденным атеистом. В противоположном, в существовании Бога, никто и не

пытался нас убедить. Даже в огромном Гомеле, где я учился, осталась (или уцелела?) одна маленькая церквушка, в которую никто из нас, студентов, не осмеливался заглянуть, хотя любопытство было.

Но был случай, когда очень неожиданно и своеобразно пошатнулась моя атеистическая убежденность. В начале войны.

Недели две-три мы оставались на своей первой учебной батарее — защищали аэродром в Мурмашах, Тулемскую ГЭС, по тому времени самую северную в мире — так писали тогда, хотя теперь я не верю, что у американцев на Аляске не было гидростанций.

Потом нас начали рассылать кого куда — большинство в новые дивизионы и полки, война заставляла в срочном порядке организовывать их, а обученных зенитчиков не было (кавалеристов готовили!), а нас все же восемь месяцев учили, хотя боевыми ни разу не стреляли (я писал, во что это вылилось в первый день войны).

Мне повезло: я остался в своем 33-м отдельном дивизионе, где и прослужил всю войну. Меня послали командиром орудия на 2-ю батарею, она стояла в Мурманске на защите порта — в центре ада.

Кажется, первый день был нелетным, и я познакомился со своим расчетом. И, не будучи дураком, понял, что такой дисциплины, как в учебке, такой, какую держал мой командир Терновой, тут нет, не было и быть не может, особенно в условиях войны. (Кстати, как изменился Терновой в первый же день войны, каким добрым стал — не узнать человека!)

Как и в первый день войны, «ночью» — в полярный день — зазвела гильза: боевая тревога! Мигом занимаем свои места. Четвертый номер — высокий худощавый парень Григорий Кошелев, ярославец или ивановец — сильно окал. Его «профессия» — угол возвышения; высокий ростом, Григорий стоял на платформе ближе всех к жерлу ствола. А пушки 76-го калибра были без глушителей. Залпы первого дня Григория оглушили. Уши болели.

Доклад разведчика:

— Над четвертым пять «юнкеров-87»!

Самые противные чудовища-пикировщики!

Я не удивился, что Кошелев затыкает уши ватой. Но он начал креститься и шептать молитву. И это впервые пошатнуло мое твердое безбожие. Не могу описать этот мгновенный сдвиг в голове, в сердце. Возникло какое-то особое уважение к Кошелеву, к его вере в Высшую Силу, которая сможет спасти от смерти. Если бы умел, то и я, возможно, прошептал бы в то мгновение слова молитвы.

Но заряжающий Павлов как-то очень нехорошо засмеялся.

— В рай хочешь, Гришка? Сотка разнесет тебя так, что клочья твои и Бог не соберет.

— Разговорчики! — скорее со злостью крикнул я на Павлова.

— А пошел ты, младший... — послал меня в ... Бухнул как бомбой.

Если бы кто из нас, курсантов, послал так своего командира — «губа» вечная. А то и трибунал. Но то в мирное время, в мирной учебе, и командиры расчетов — Терновой, Зашкарук, Мельничук — старшие сержанты. А тут война, и я всего лишь младший сержант и командир новоиспеченный. Павлов — ефрейтор, разница в одну лычку, и мне сказали, что мой заряжающий лучший на батарее. А я пойду жаловаться на подчиненного. После первого боя. А бой — вот он, приближается. Голос дальномерщика:

— Цель поймана.

На орудии задрожала стрелка показателя дистанции. Читающий трубку стал выкрикивать цифры. Установщики, двое, держат снаряды, зажав между ног, ключами поворачивают колесики с цифрами дистанции. Отсчет идет в обратном порядке — от большего к меньшему. Но ревуна пока что нет: враг еще далеко. ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем) обработает данные дальномера, километры и метры — в цифры на трубках и, когда будет совмещение, даст сигнал орудиям. И тут все зависело от скорости. Четко и быстро сработают приборщики — снаряд разорвется ближе к вражескому самолету, большая вероятность, что какие-то осколки от четырех снарядов — залпа батареи — собьют вражескую машину.

Существует мнение, что зенитчики, в отличие от истребителей, сбивали намного меньше. Это так. Но я и в Мурманске, и в Африканде, где одна из наших батарей прикрывала аэродром дальних бомбардировщиков (а я, тогда уже «вольный казак» — комсорг дивизиона, любил эту батарею и часто заглядывал туда), не раз слышал от пилотов, что «мессеров» они боятся меньше, чем огня зениток; маневр истребителя можно предвидеть — разрыв снаряда рассчитать невозможно: один рванул перед носом, другой — сверху. Где рванет третий?

На прямое попадание в зените рассчитывать нельзя, это не в противотанковой артиллерии. За всю войну я помню одно прямое (так мы считали) попадание. Там же, в Мурманске, через год после начала войны. Немцы налетали беспрерывно — очередной караван пришел. На стволах пушек горела краска. В день прилетало пять «Ю-88», тяжелых бомбардировщиков. Шли кучно — стрелой, как на параде: ведущий и по сторонам, немного сзади, по двое. В Мурманск, по приказу Сталина, прислали два зенитных полка, стояла задача: ни один корабль союзников не должен быть потоплен возле портовых причалов, на разгрузке.

Огонь велся доброй полусотней орудий различного калибра. И внезапно на удивление нам, обстрелянным, один из боковых «юнкерсов» взорвался в воздухе, не долетев до залива, развалился на куски, которые посыпались на сопки; его сосед задымил, сбросил бомбы в залив и упал на город. Все высокие специалисты считали, что снаряд попал в бомбовой люк и самолет разнесли на куски его же бомбы; осколки долетели до соседа. Зенитки сбили еще один. Два оставшихся сбросили груз в залив, резко развернулись на запад — под охрану «мессершмитов», которые уже вели бой с нашими «МИГами». Однако нашим соколам удалось сбить и те два бомбовоза, и один «мессер». Какая победа! Такого еще не было, чтобы немцы потеряли целый эшелон «юнкерсов», не сбросив ни одной бомбы на корабли.

За тот бой многих наградили. Кого? В нашем дивизионе одного командира третьей батареи Савченко. Всего лишь. А мы ведь — ветераны обороны: год назад Мурманск прикрывали всего два дивизиона — наш и морской.

Однако увлекся я «технологией зенитного огня». Неумолимая старческая память: держит все давнее и забывает то, что было вчера.

Постоянно помню своих бойцов. Того же Павлова. Сидит он у меня в печенках. Более противного человека не знал. Даже обидно, что он мой земляк — стрешенский. Командиры взвода и батареи считали его лучшим заряжающим: на командных поверках из дивизиона, из штаба

14-й армии, позже корпуса ПВО он всегда показывал наилучшие результаты. Кряжистый, широкоплечий, долгорукий, косолапый, сзади, когда шел, подобен был горилле, имел недюжинную силу. Но какой наглый был, жадный, завистливый, вороватый. Мыл ли он когда-нибудь руки? Вытирал ветошью и хватал самый большой кусок хлеба. На семерых человек расчета старшина выдавал «кирпич» — на завтрак, обед, ужин. Норма была 600 граммов на день. Но весила ли буханка кило четырехста? Кто проверит? Дележку хлеба поручили Кошелеву демократичным голосованием. Павлов требовал, чтобы резали по очереди. Почему один Гришка? Святой он? Как будто требование справедливое. Но проголосовали за это только он, Павлов, и Кошелев, остальные явно ощущали то же, что и я: не хотели есть хлеб из павловских рук. Может быть, за это он и не любил нас всех. Мстил своеобразно. После полярных морозов и горячей стрельбы в любой отбой — ночью или днем — в тесной землянке, обогретой «буржуйкой», мгновенно проваливались в сон. Но через какой-нибудь час не хватало воздуха и просыпались от иной «стрельбы». Павлов громогласно выпускал «злого духа». Делал он это, казалось, бесконечно — в землянке. От чего его пучило? От «блондинки» (проса) и соленой трески?

Наводчик Лысуха — тихоня, но и юморист, и большой обманщик, рассказывал интересные истории (что-то подобное на гоголевское), которые, наверное, сам и сочинял. Обычно он разговаривал по-русски, а рассказывал на украинском языке, получалось очень колоритно. И вот он, Иван Лысуха, когда Павлов отлучался — лечил у санинструктора чирей (от фурункулеза страдала половина батареи), начал подбивать расчет на сговор против Павлова: чтобы проучить его, накрыть «темную», так проучивали хвастунов, нахалов, человеконенавистников в деревнях; помогало, добрели хулиганы, начинали уважать людей.

Привлекательная идея. Но мне, гуманисту, она не понравилась: шестеро на одного!

— Ты, командир, можешь не участвовать!

— В штрафную роту захотели? Если он зарядить не сможет — пощады не будет.

Отстали мои ребята.

А Павлов портил воздух и делал разные пакости «чистюлям», «святошам», как он называл Кошелева, меня, Лысуху... За что он не любил нормальных людей?

Попробовал я говорить с комбатом, чтобы Павлова отослали в другую часть. У того глаза полезли на лоб.

— Ты что, чокнутый? Лучшего заряжающего! Кто его заменит? Монах Кошелев?

И отослали... Гришу Кошелева. Замполит постарался! Знал о Гришкиной набожности и побоялся: дойдет до начальства — наживают ему, замполиту, мол, не умеет воспитывать.

А я очень болезненно пережил отсылку Кошелева. Будто брата лишился. После войны я, атеист, жене не сказал, как мне не хватало его молитв под звон гильзы — боевой тревоги, а потом отбоя; в 1941 году немцы еще пытались бомбить батареи, попадания случались редко, но были: на одной батарее «московского полка» (из тех, что обороняли Москву) бомба упала в центр батареи, на командный пункт. Погибло больше половины личного состава: комбат, замбат, командиры взводов, расчеты дальномера, ПУАЗО, часть людей из оружейных расчетов.

Самый противный «подарок» Павлов поднес мне под Новый, 1942 год. Я командовал четвертым орудием. А самый близкий мне человек, земляк из одного района — Тереховского — и однокурсник, вместе заканчивали техникум, вместе призывались из Гомеля, вместе служили в учебной батарее, — Николай Литвинов. Настроение под Новый год поднялось: разгромили немцев под Москвой, налетов вражеских стало меньше, правда, порт был пустой, караван не пришел. (Через много лет из мемуаров Черчилля я узнал, что после разгрома первого каравана — из 39 грузовых и конвойных судов до Мурманска дошло всего 14 — Черчилль вообще был против того, чтобы посылать помощь СССР Северным морским путем, только через Иран; Рузвельт победил — за этот путь выступил, и 1942—43 годы были пиками загрузки Мурманского и Архангельского портов.)

Мы наивно поверили, что 1942 год будет годом победы. И мы с Колей с почти детской непосредственностью договорились встретить Новый год по-особенному; словно от того, как мы его встретим, зависит победа. А как встретить? По-гусарски! С выпивкой! Нам в обед выдавали по сто граммов, «наркомовских». Не будем пить дня два-три, набираем в фляжках граммов по 200—300. И выпьем в котловане или в столовой по двойной дозе. Не было бы только в полночь летной погоды.

Не повезло. Было ясно. В небе — праздничные многоцветные полотнища северного сияния. И непрерывно гудел вражеский самолет. Немцы использовали новую тактику: массовых налетов в долгую полярную ночь не делали. Но пускали по одному-два бомбовоза, тот сбрасывал в черный, между белых снегов, залив бомбу и долго кружил над городом, на смену ему прилетал другой — и так всю ночь. Сначала мы по этим одиночкам вели заграждающий огонь — выстреливали за ночь сотни дорогих снарядов, которые привозили с далекого Урала, где их делали дети, женщины, старики.

Немецкую хитрость — опустошить арсенал боезапасов, обессилить за ночь людей — быстро раскусили не только генералы, даже рядовые высказывались на этот счет. Появился приказ: огонь вести только по тому самолету, какой ловили прожекторы. Ловили нередко, но вели минуту-две, умели фашисты выскальзывать из ярких лучей.

В двенадцать наступила тишина: немцы тоже встречали Новый год. Мы продолжали дежурить на двадцатиградусном морозе. Но через час Баренцево море преподнесло нам подарок — внезапную облачность и метель. Отбой тревоги. Спать! Бойцы мои уснули мгновенно, не обращая внимания на павловскую «пальбу». Дежурить я оставил Кошелева, не его очередь, но он никогда ни от чего не отказывался. Я ждал друга своего. Николай явился часа в два ночи. Кошелев дернул меня за ногу (я лежался возле дверей, чтобы по тревоге выбежать первым).

— Товарищ сержант, к вам Литвинов...

Из вещевого мешка, служившего вместо подушки, я достал алюминиевую фляжку, кусок уже подсохшего хлеба.

Вьюга засыпала котлован — попотеем завтра.

— Где? — спросил я у Николая; Кошелеву о своей задумке сказали. Он вздохнул и сделал движение рукой — словно перекрестил.

— В столовке.

— А если там командиры отмечают?

— Нет, они в своей землянке. Я слышал...

«Столовка» как раз ближе к моему орудию: шагах в полусотне, в низине. Собственно говоря, никакой столовой не было. Дощатый низкий барак, в котором размещались кухня с двумя котлами и каптерка, из самых надежных, толстых досок, которую старшина закрывал аж на два замка: там лежали продукты — хлеб, треска, крупа; водку комбат держал в своей землянке. То, что называлась громко «столовая», — небольшая комнатка с одним длинным столом, где в летнюю погоду могли сесть не больше двух расчетов, что случалось редко. Остальным разносили в термосах. И счастье, если можно было поесть в землянке, чаще — возле орудия, возле приборов, где суп на дне котелка замерзал, ложкой выскребали льдинки.

«Столовка» не закрывалась. Туда мы с Кошелевым и шмыгнули, как воришки, чтобы встретить год 1942-й. Все же в затишье. Кухня еще дышит остатками тепла и запахами уже давнего ужина. По кусочку трески не повредило бы! Но где там! Закрыто. Да и кто мог оставить для нас эти куски?

Кружку держал Николай. Я на ощупь налил граммов сто.

— Ну, за Новый год!

— Нет, давай ты первый. За Победу!

— Ну, дорогой Коля, дай нам Бог дожить до нее — до победы...

— Ты как Кошелев.

— Кошелев — святой человек. Ну, будем!

Я отхлебнул из кружки и... хуже, чем опекся. Не водка! Гадость! Мгновенно сообразил, что в моей фляжке. И чья это работка. Выплюнул. Выплеснул из кружки.

— Ты что? — удивился мой друг.

— Моча! Павлов!

Николай выхватил фляжку. Понюхал. Засмеялся. А меня вытошнило слезью: желудок был пустой. Из Николаевой фляжки выполаскивал рот и не глотал — выплевывал.

Не было бы так противно, если бы это не была моча грязного животного. Он... он подсмотрел, что я собираю водку, вылакал все триста граммов, и пьяным его никто не заметил. Но за что такая злая, противная, нечеловеческая месть? Что я ему сделал? Ну, выпей, ворюга, налей воды, вон оно рядом, озеро, из которого пьет весь Мурманск! Ничего себе землячок. Подлец из последних подлецов! Почему у человека столько злости?

Николаевой водкой немного прополоскал рот, продезинфицировал желудок, но какое могло быть после такой «встречи» настроение? Какой праздник?

Весь тот день, первый в новом году, не мог есть, только вспомню — тошнит. Санинструктор Алеша Спирин встревожился, спирту не пожалел, но и спирт не помог.

— Чем ты мог отравиться?

Комбат заставил старшину и повара всю каптерку перетрясти: ничего не испортилось? А что могло испортиться в такой мороз? Хорошо просоленная треска?

Шестьдесят лет в каждую новогоднюю ночь за самыми шикарными столами я вспоминаю, чего глотнул в далекую полярную ночь, и мне делается нехорошо: пить — пью, а закусывать не могу, даже самыми изысканными блюдами. О том приключении рассказал однажды Андрею Макаенку, и он смеялся на весь дачный поселок. Маше, жене, рассказал только под старость. Она не смеялась, сказала:

— А ты идеализируешь людей.

Разве всех своих героев я идеализировал? Бородка, Гукан, «челноки» из «Сатанинского тура»... А в «Атлантах»?

Нет, людей я знал, — их высокие качества и недостатки. Встречал и других Павловых. Их не понимал. Злился я тогда на своего заряжающего? Злился. Ненавидел? Пожалуй, нет. Скорее — боялся. Комбата, комдива не боялся. Своего подчиненного боялся, так и следил, чтобы он не сделал еще какую-нибудь гадость, новогодняя ведь прошла безнаказанно: я ни слова не сказал. Только два дня есть не мог. И он один знал — почему.

Освободился я от «злого духа» весной этого же года: меня назначили химинструктором; пришло сообщение, что немцы в Крыму применили газы. После Сталинграда и Орловско-Курской битвы единица химинструктора в ротах, батареях была ликвидирована. Побоялся Гитлер даже в агонии применять газы.

Но что сильно удивило: командиром орудия назначили тихого украинца Лысуху, и тот сумел обуздать наглеца, заставил даже обтираться снегом, умываться, мыть руки с мылом; мыло нам выдавали: везде же смазка — на орудии, на снарядах... По сравнению с пехотой мы были «аристократами», особенно когда караваны приходили без больших потерь и доставляли не только танки, машины, самолеты, но и предметы гигиены, санитарии. Когда в конце 1942 года поступили на службу девчата, их так часто возили в баню, что такие враги, как вши, им не угрожали, а каждая ведь привезла их с собой столько — не дай бог, особенно девушки-коми. Помыли, одели во все армейское — до панталонов и лифчиков. Барышни!

2

После войны, написав романы, окончив партшколу, прочитав гору материалистической литературы, я стал таким атеистом, что не верил ни в какие магические силы, в «дурной глаз» Гапки не верил — суеверная легенда кравцовских старух; над молитвами Кошелева, волновавшими там, в Мурманске, перед налетами, посмеивался. (Между прочим, Григорий Кошелев вернулся с войны и писал мне, работая в колхозе шофером, освоил профессию еще в армии, водил «студебеккер», таскавший 100-миллиметровую «американку».) Я не верил ни в святых, ни в дурной глаз, ни в черные души. А жена моя, Мария, верила. Спорила со мной.

— Ты ни во что не веришь. Фома неверующий...

— Я в партию верю и в победу социализма.

Получилось, зря верил.

А поседевший, вдруг поверил и в дурной глаз.

Январь 1981 года. Шесть месяцев сижу уже в новом кресле — главного редактора Белорусской Советской Энциклопедии, после ее организатора и первого редактора Петруся Бровки. Тяжело я принимал предложение занять эту должность. Маша и Андрей нажали:

— Иди. Конкретная и почетная работа. Сколько можно сидеть в Союзе писателей!

— Я не сижу. Я руковожу...

— Двадцать шесть лет руководишь. И что? На очередном съезде агитну, чтобы «прокатали» тебя. Да и без моей агитации прокатят.

Почешешься тогда. Бровка сколько переживал, когда получил без малого сотню черных шаров, — Андрей умел агитировать.

И вот сижу. Читаю нудные статьи. В первые месяцы читал столько, что тупел; не смог бы ночами писать романы. А без творчества жизнь — не жизнь. Написал просьбу в ЦК об отставке, месяц носил в кармане. До тех пор, пока мой добрый и неизменный заместитель Иосиф Ховратович, настоящий энциклопедист, не сказал:

— А зачем вам все читать? Вы биолог, химик, техник, агроном? Вы читайте спорные статьи. Для нас важнее ваша организационная работа.

А это я умел: научился в Союзе писателей — выбивать, пробивать, а начальником надо мной — председатель Комитета по печати — наш с Андреем давнишний, по партшколе еще, друг — добрейший и мудрейший Михаил Иванович Делец. (Вечная память ему!) У него — деньги, бумага, полиграфические лимиты. С ним договаривался.

Правда, когда пошли энциклопедии «Літаратура і мастацтва», «Янка Купала», читать пришлось немало и шишки набивать: били сверху и снизу — шла ведь перестройка, и многие делали крутые повороты, в коллективе нашем образовалась группа «воинствующих перестройщиков». Помню, какой сыр-бор разгорелся из-за статьи про Марка Шагала. Мякотелый либерал, я клюнул на «высокие идеи» бывшего заведующего отделом ЦК, второго моего заместителя, драматурга Алеся Петрашкевича. Подставил он меня. А потом он «перестроился»! Но все баталии позже — во второй половине 80-х. А в январе восьмидесят первого года — «тишь и благодать»; твердая уверенность в нерушимости нашей жизни.

На дворе мороз. В кабинете тепло. Сижу. Обдумываю очередной сюжетный ход исторического романа — о Брестском мире.

Входит Иосиф.

— По рюмочке пропустим после работы? — грешные, делали это не однажды.

— Писать хочется.

— Отдохните! Столько написали...

Разговор перебивает звонок «вертушки».

Помощник первого секретаря ЦК Виктор Крюков:

— Вас просит Тихон Яковлевич.

— Когда?

— Как можно быстрее! Машина есть?

— Есть.

(После трагической смерти Петра Машерова на должность первого вернули из Москвы Киселева, бывшего Председателя Совмина.) Пугаюсь не только я, но и Ховратович. Какой же мы ляп могли допустить, если сразу, минуя отдел, минуя Кузьмина, к первому?

Мчусь. В теплой машине дрожу, словно на сильном морозе. Как будет испорчен мой юбилей, если пропустили что-то такое, что возмутило Киселева. Но вежливость, с которой встречает меня Крюков, успокаивает. По внутренней связи помощник докладывает, что Шамякин здесь.

— Пусть заходит.

И — о чудо! — Тихон Яковлевич идет мне навстречу и... обнимает.

— Поздравляю. Поздравляю!

— День моего рождения — тридцатого, — несмело напоминаю я.

— Есть причина поздравить тебя заранее.

Берет со своего рабочего стола бумагу, передает мне. Постановление Политбюро о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда. Подписано самим Брежневым.

Не знал, не ждал. Имел три ордена Трудового Красного Знамени. Тайно рассчитывал на «Дружбу народов». И вдруг — наивысшая награда. Захлебнулся от счастья.

Тихон Яковлевич внимательно следил за моей реакцией. Может быть, потешался над моей ошеломленностью. Кажется, я не сразу догадался поблагодарить его, знал ведь, как определяются, как «идут» такие награды. Полчаса беседовали на темы, далекие от моего юбилея. Нет, близкие — о литературе. Он, пожалуй, единственный из первых секретарей ЦК, который читал наши романы, в этом я убедился, когда Тихон был еще заведующим отделом ЦК, секретарем Брестского обкома (выступали в Бресте, и он принял нас, молодых), Председателем Совета Министров.

* * *

Юбилейный вечер — в Театре Купалы.

Там же главный номер — вручение Звезды Героя. Больше меня волновалась только Маша: как оно будет, как все пройдет? Такое событие!

Но утром 30 января меня вызвал Председатель Президиума Верховного Совета Иван Поляков и при малом количестве свидетелей вручил мне награду. Объяснил: в Беловежскую пушу приехал страстный охотник Кадар, и они, первые лица, должны сей же час ехать туда — на встречу с руководителем братского государства. Протокол!

На вечере присутствовали вторые по рангу лица — Кузьмин, Лобанок, Климов. Некоторые писатели удивились, когда я появился за кулисами театра со звездой на груди. И отсутствие высшего руководства не испортило торжества. Меня зацеловали.

На следующий день, как раз нерабочий — суббота или воскресенье, не помню, я давал юбилейный обед. Скромный — так посоветовал Андрей. В Доме литераторов, к строительству которого я, первый секретарь Союза писателей, приложил немало стараний, своей пробивной силы. У Андрея была теория: меньше пригласишь — меньше будет обиженных. Но как ограничить в такой праздник? Человек семьдесят пригласил: из аппарата Союза писателей почти всех, издателей, редакторов журналов, энциклопедистов, некоторых близких чиновников — из ЦК, горсовета, комитета.

Мы с Машей пришли часа за полтора до начала обеда. И были горько ошеломлены: стол не накрыт. А когда я руководил Союзом, какие они, работники кафе, были добрые, услужливые.

Маша чуть не плакала, взявшись за работу. Но я знал: она официанток не подгонит — излишне деликатная. Нужна Ядвига Павловна! Я позвонил Ивану Науменко, другу моему. Не ему — Ядвиге рассказал, что происходит в кафе. Она явилась минут через двадцать. И под ее командой закрутились «саботажницы». Правда, я пообещал хорошие «чаевые». К назначенному часу все было готово — «как в лучших ресторанах Парижа».

Обед прошел хорошо. Были десятки тостов, серьезных и шуточных, длинных и коротких. Все подходило чокнуться с юбиляром, некоторые

целовались, чего мы с Машей боялись — гриппозное время, принесем маленьким внукам грипп.

Тамадой был Андрей Макаенок. Мобилизовал весь свой юмор. Но реакция зала на его шутки не нравилась мне. Вообще ощущения мои были далеко не праздничными, временами возникало предчувствие чего-то нехорошего. Напряженно держалась и Маша. Я дергал ее за кофту, шептал:

— Почему ты такая?

— Какая?

— Сидишь, как на поминках. Смотри на мою Звезду. И радуйся.

Звезду многие трогали, поворачивали, читали номер — небольшой для всего Советского Союза.

Гости проявили интеллигентность — никто не напился, хотя были те, кто мог хорошо выпить. И не засиделись, мне даже обидно стало, что так быстро разошлись.

Семья наша уходила из кафе последней — рассчитывались за обслуживание. Молодежь наша — Саша, Слава, две Татьяны, дочь и невестка — что-то из дорогих напитков забрали домой.

Раздевались в маленьком гардеробе при служебном входе. Я, имея шкаф в служебном кабинете, никогда гардеробом не пользовался. И не знал «ловушек». А они были. Надевая дубленку, я зацепился за незамеченный в темноте фойе порожек, упал и... сломал руку, правую, рабочую. Боль нестерпимая. Не дождался «скорую», долго искали по телефону травматологический пункт. Ждали такси. Сын мой поймал частника. Добрались до травматологии. Рентген. Закрытый перелом кисти. «Не самый страшный», — успокаивали врачи. Но боль не прекращалась и после уколов. Руку взяли в гипс.

Вот тебе и юбилей!

— А ты не верил, что нет «дурного глаза», — сказала Маша.

Поверил. Знал, что пригласил многих недоброжелателей, завистников. Любил своих коллег, но эту их черту — завистливость — хорошо знал. Когда я ушел из Союза, один виршеплет-писака, считающий себя самым-самым (у Купалы собрание сочинений только девять томов, а у него — больше двадцати), во всеуслышание заявил: «Я шамякинский дух выветрю».

Выветрил? Не уверен. А что сам он в скором времени «выветрился» — факт.

Да беда не ходит одна, как говорят в народе. Через девять дней трагически погибла моя родная сестра Галя: ехала на велосипеде на работу в военный городок, где трудилась плановиком, и перед самым КПП с сосны упал толстый сук ей на голову. Как не поехать на похороны. Рвался, но Маша не пустила:

— Куда с такой рукой! Еще застудишь!

* * *

Поехали сама Маша и сын Саша. Не передать словами, как я пережил трагические дни. Не ел, не спал. Рука моя сильно разболелась, ежедневно делали уколы, только после укола мог поспать немного.

Вернулись Маша и Саша почерневшие от слез, от морозного ветра. Рассказ их рвал мне сердце. А потом новое событие, не трагическое,

но сна лишило. Я избран делегатом XXVI съезда КПСС. Звоню заведующему отделом ЦК Якушеву, что поехать на съезд не могу — рука в гипсе. Иван Федорович в отчаянии, кричит в трубку:

— Да вы что, сговорились? Третий, — еще кто-то болел. — Да меня с работы выгонят.

— Я брюки не могу застегнуть. Как я буду сидеть там?

Не поверил, что ли? Вечером явился ко мне домой. Посмотрел, обратился к Маше:

— Вы можете поехать?

— Одного не отпущу. Как он без меня? Поест левой рукой не сможет.

И Якушев выносит вердикт:

— Можете ехать! А брюки мы вам пошьем — без ремня, на резинке и на молнии.

На следующий день, когда я еще спал, явился Ляхман, закройщик из ателье Совета Министров. Снимал мерку, вздыхал, прищелкивая языком:

— И так это нужно ехать в таких брюках? Без вас не проведут тот съезд?

Бил мудрый еврей, как говорится, под дых. Я краснел. Думал: от Якушева, от самого Киселева мог бы «откреститься». Я испытывал два чувства: благодарность за высокую награду и самолюбивое желание использовать еще одну награду, возвыситься, украсить биографию дополнительной строчкой: являлся делегатом XXVI съезда КПСС. (Между прочим, я оказался делегатом и следующего, XXVII съезда КПСС, горбачевского, когда делегатам в ресторане не давали даже пива — шла борьба с пьянством, развалившая экономику.) Якушев поселил нас с Машей в гостинице «Москва» в двухкомнатном люксе рядом со своим «штабом»: днем в штабе сидели дежурные, машинистка, ночью спал один он, Якушев, ответственный за всю делегацию, а было нас из Белоруссии человек семьдесят — рота. А всех делегатов — пять с половиной тысяч: вместительный Дворец съездов построил Никита Хрущев. Но несмотря на присутствие Маши, на весь комфорт, на специально сшитые брюки, страдался я на том съезде. Во-первых, буквально голодал: боялся съесть и выпить что-то лишнее. Глотал слюнки, когда видел, как раскованно, свободно ужинали другие делегаты, особенно сибиряки, кавказцы, украинцы хорошо закладывали за воротник. Во-вторых, болела рука. Каждое утро заходил в медпункт, и мне делали укол. После укола хотелось спать. А наша делегация сидела на первых рядах центрального сектора, я в четвертом ряду — перед самой трибуной, с надежными друзьями — Николаем Борисевичем и Глебом Криюлиным. Просил их:

— Если засну — вы меня щипайте.

* * *

Не щипали, но легонько толкали, то один, то другой. Докладчика, Леонида Ильича Брежнева, я почти не слышал. Но быстро понял, что на трибуне — почти такой же страдалец, как и я. И сон мой пропал. Я начал наблюдать за ним, со страхом и нехорошим любопытством ждал, когда Генсеку станет плохо. А ему уже через полчаса стало дурно.

Побледнел, раз за разом утирал платком потевший лоб, через каждые пять минут официант приносил ему белое, как молоко, питье — кислородный коктейль, пояснил мне Борисевич.

Шесть тысяч пар глаз смотрели на докладчика. Не сомневался, теперь уже не сомневался: есть среди них дурной глаз. Не всех он, Брежнев, обогрел, не всем дал высокие должности. У меня на обеде было 70 человек. Сколько из них имели злое сердце, дурной глаз? А здесь, во Дворце? Представить тяжело. Вот-вот упадет человек — за трибуной. А доклад ведь, говорили, на четыре часа. Ужас!

Вытер Леонид Ильич лоб в очередной раз и повернулся к президиуму. И те, что смотрели ему в спину, наконец догадались, что нужно докладчику. Черненко объявил перерыв. Длился перерыв долго — почти час. Почти все были уверены, что доклад продолжит кто-то из других членов Политбюро. Гадали: кто? Высокая политика!

Прозвенели звонки. Заполнился зал. И — о чудо! — выходит из-за кулисы Брежнев, бодрый в ходьбе, с улыбкой на лице. И доклад начал читать совсем другим голосом. И пот не вытирал. Дочитал до запланированного перерыва. А после него читал еще более бодро. Кто его спасал от дурного глаза? Сделалось как-то не по себе, что я, атеист, поверил в него. Дурной глаз! Ха!

Однако кто дал силы Брежневу? Или что? Терапевт? Укол? Или психиатр, чародей, тибетский маг, Джуна? У Генсека все могло быть. Все лекарства и все средства.

Но никакие лекари жизнь ему не продлили. Через полтора года человек утром не проснулся.

Недавно я прочитал воспоминания помощника Брежнева, который был рядом с ним двадцать пять лет. Мы, грешные, думали, что вождь наш любит выпить. Помощник пишет: нет! Выпивал он очень мало. Но мудрые «лекари» сделали его наркоманом: принимал по три-четыре таблетки сильнодействующего снотворного.

И я без снотворного не могу заснуть. Болезнь старости. А какая каша варится в голове в бессонницу! Если бы их все записать, ночные воспоминания, — сколько томов набралось бы! Благодарите, читатели, что я не стал писать ночами! Хотя читателям нечего бояться: они перестали читать — есть телевизор. Да и не так просто издать даже небольшую книжку в наше время. А воспоминания... когда их издадут? И дело не в «дурном глазе». Утратили силу самые добрые сердца, умные головы. Верни, Боже, нашу силу, нашу доброту, единство, не дели на классы, партии, группы! Пусть у всех у нас будут добрые сердца, добрые глаза!

2001 г.

Перевод с белорусского Сергея МАХОНЯ.